



Виктор МИХАЙЛОВ

Анатолий ЮСИН

*Штрихи к портрету  
писателя  
и спортсмена  
Эрнеста Миллера  
Хемингуэя*

# «СТАРИКУ СНИЛИСЬ ЛЬВЫ...»



Виктор Михайлов

**«Старику снились львы...».  
Штрихи к портрету писателя  
и спортсмена Эрнеста  
Миллера Хемингуэя**

«Спорт»

27.06.2014

ББК 84.4

**Михайлов В. Д.**

«Старику снились львы...». Штрихи к портрету писателя и спортсмена Эрнеста Миллера Хемингуэя / В. Д. Михайлов — «Спорт», 27.06.2014

ISBN 978-5-94299-068-9

21 июля 1899 года на одной из тихих тенистых улиц городка Оук-Парк, лежащего неподалеку от Чикаго, в семье начинающего врача Кларенса Хемингуэя раздался крик новорожденного мальчика, в честь деда названного Эрнестом Миллером. 4 июля 1961 года в Солнечной долине, расположенной между Хэйли и Кэтчумом на западном берегу Вуд Ривер, в доме, фасад которого был открыт восходящему солнцу, выстрелила инкрустированная серебром двустволка «Ричардсон» 12-го калибра. Умер знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.

ББК 84.4

ISBN 978-5-94299-068-9

© Михайлов В. Д., 27.06.2014

© Спорт, 27.06.2014

## Содержание

Виктор Михайлов, Анатолий Юсин	5
Штрихи к портрету писателя и спортсмена Эрнеста Миллера Хемингуэя	5
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Виктор Михайлов, Анатолий Юсин

## Старику снились львы...

Виктор Михайлов, Анатолий Юсин

### Штрихи к портрету писателя и спортсмена Эрнеста Миллера Хемингуэя

*21 июля 1899 года на одной из тихих тенистых улиц городка Оук-Парк, лежащего неподалеку от Чикаго, в семье начинающего врача Кларенса Хемингуэя раздался крик новорожденного мальчика, в честь деда названного Эрнестом Миллером.*

*4 июля 1961 года в Солнечной долине, расположенной между Хэйли и Кэтцумом на западном берегу Вуд Ривер, в доме, фасад которого был открыт восходящему солнцу, выстрелила инкрустированная серебром двустволка «Ричардсон» 12-го калибра. Умер знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.*

...И восходит солнце, и заходит солнце. Но неправда, что тот же ветер возвращается на круги свои. Ветер века несет людям новое – то многое, что сделал сын века, один из талантливейших писателей.

«Он жил так же, как и умер – неистово», – писал о Хемингуэе брат. Таким же было и его творчество – во многом зеркало нашего сложного, трудного, прекрасного, нежного и яростного мира.

«Мир – хорошее место, за него стоит драться и очень не хочется его покидать», – сказал один из героев писателя. И это было кредо Хемингуэя, который писал о многом. И всегда о современности. Он жил жизнью своих героев. И поэтому в его жизни и творчестве немалое место занял спорт. Спорт как эстетическая ценность, спорт как самоутверждение героя, спорт как огромная радость, спорт как помощник в творчестве.

«Самая знакомая для романиста страна – его собственное сердце», – говорил писатель. А спорт с детских лет жил в его сердце. И позже Хемингуэй повторял не раз: «Для понимания боя быков, так же, как для понимания книги, горной вылазки, катания на коньках, любовной связи, стрельбы, всегда необходим личный опыт».

Он жил в Соединенных Штатах Америки – стране, которая давно и очень настойчиво культивирует спорт. Спорт ей нужен для различных целей – для престижа нации, для материального обогащения, для отвлечения людей от политики. Спорт нужен Америке, которая пытается воспитывать «жестких парней». И, будучи величайшим художником Америки, Хемингуэй не мог не писать о спорте. К разным видам спорта он относился по-разному. Он писал о состязаниях и как о кошмаре. Он писал по-разному, но не писать о спорте он не мог.

Патрик Хемингуэй – сын писателя – предостерегал тех, кто работал и работает над осмыслением биографии его отца:

«Авторы книг... редко обращают внимание на то, что он был очень впечатлительным, тонко чувствующим человеком. Обычно стараются подчеркнуть жизненную активность его натуры, вспоминая, что он был боксером, рыбаком, охотником, но ведь он в первую очередь и главным образом был писателем, художником».

Будем помнить это сыновье предостережение, перечитывая книги Хемингуэя и обширную, очень противоречивую литературу о нем. Но при всем этом будем помнить: нас интересует в данном случае спортивная биография писателя.

В жизнь Хемингуэя спорт вошел очень рано. Лестер Хемингуэй – младший брат Эрнеста – вспоминал о самом раннем детстве:

«После воскресного обеда все с нетерпением ожидали, когда, наконец, отец скажет: «Как насчет стрельбы в цель?»»

Все были в восторге, ведь стрельба означала приятное волнение и великолепный запах сгоревшего пороха. Наш отец был замечательным стрелком. Он мог попасть в амбарную ласточку, хотя, как он сам нам показывал, в ней было мяса примерно столько же, сколько в окончании большого пальца, и поэтому их требуется по меньшей мере дюжина для пирога из дичи. Он никогда не позволял убивать «ради спорта». Мясо нужно было всегда съесть. В качестве целей мы применяли глиняные тарелочки, которые сначала запускались от руки, а позднее с помощью пружины».

В семье все умели обращаться с оружием. Девушки почувствовали отдачу охотничьего ружья еще до того, как они смогли сами держать оружие при стрельбе. К десяти годам Эрнест стал отличным стрелком по летящей мишени. Каждый ребенок стремился заслужить честь подержать и попробовать «папино ружье». Этой чести все они удостоивались уже в детстве.

Когда Эрнесту исполнилось десять лет, он получил от дедушки свое первое ружье.

Отец и до этого момента старался приобщать мальчика к охоте на птиц и рыбалке, а мать тянула его к музицированию на виолончели. Эрнест на всю жизнь возненавидел виолончель и полюбил охоту с рыбалкой. А в подтексте – полюбил отца и возненавидел мать. Потом очень многие удивлялись: он высказывался о ней насмешливо и пренебрежительно, даже когда совсем уже вырос. Похоже, он смог простить Грейс только после ее смерти.

Еще отец научил его свистеть, когда больно. Однажды мальчик бежал за молоком на соседнюю ферму – у него была обязанность по утрам приносить домой молоко, споткнулся и упал. И проткнул горло палочкой, которую держал в руке. Из горла хлынула кровь, перепуганный и перепачканный, в слезах и крови, мальчик кое-как добрался до дома. Хорошо, что папа был врачом. Он остановил кровотечение и сказал сыну: «Не реви!» – «Но ведь больно!» – «Все равно не реви!» – «А что же мне делать?!» – «Свисти, – сказал папа. – Просто свисти. Когда тебе так больно, что ты не можешь сдержать слезы, начни свистеть, и они закатятся обратно». Горло потом еще долго болело. Эрнест потом еще много свистел. Он, кстати, тогда обратил внимание: иногда папа с мамой закрываются в комнате и о чем-то спорят. О чем – разобрать невозможно. Говорит в основном мама. Или так только кажется, потому что у нее хорошо поставленный голос. А папа на следующий день вообще почти не разговаривает, только насвистывает что-то себе под нос.

Мы уже говорили, что, когда дед подарил Эрнесту первое ружье – однозарядное, 20-го калибра, ребенок был счастлив: у него есть свое ружье! Настоящее!.. До третьего акта было еще очень далеко, и дед Эрнеста Хемингуэя, конечно же, никогда не читал русского писателя Чехова: если на стене висит ружье, то оно обязательно выстрелит. Просто дед был старым воином и считал, что у настоящего мужчины обязательно должно быть собственное ружье.

Наверное, тогда Эрнест и решил, что станет настоящим мужчиной. Будет охотиться и ловить рыбу, как папа. Но никому и ни за что не даст себя подчинить. Не как папа.

Из своих шестидесяти Хемингуэй примерно с четырех лет рыбачил. И ружье он взял в руки в мальчишеские годы, когда него отец – заядлый охотник и рыбак – научил ребенка, как свидетельствует биограф, и как хранить оружие и как с ним обращаться, как иметь дело с удочками и такелажными снастями, он дал ему первые уроки мужества и выдержки». Тогда, собственно, в ранние годы, уже соединился для Хемингуэя спорт и вопрос о «моменте истины». Это были первые спортивные увлечения. Потом к их числу прибавится, уж как положено, фут-

бол в школе, американский футбол, в котором Хемингуэй был неплохим форвардом. Потом он начал боксировать, и это еще до отправки на фронт в первую мировую войну. Впоследствии Хемингуэй любил говорить, что он чуть было не стал в боксе профессионалом, но это из тех охотничьих «баек», которым... нельзя не верить: настолько они увлекательно правдоподобны!.. На самом деле Хемингуэй просто посещал обычный спортивный зал для любителей. Он, как Байрон, дружил с величайшими боксерами – это другой разговор. Кстати, книга «Байрон и бокс» всегда была у него под рукой, лежала на письменном столе в «башне» на Кубе. Опять же еще перед войной, на которую попал он восемнадцати лет, Хемингуэй занялся греблей на каноэ. А после мировой войны – все тот же бокс и скачки. Вот уж где он всегда был только зрителем и, кроме как на простой лошади, на охоте, его в седле больше не видели. А вот книги «История скачек» и «Хроника Ливерпульского стипль-чеза» – труднейшей барьерной скачки на восемь миль – тоже всегда были с ним. Может быть еще и потому, что самому писателю так и не удалось увидеть этот коварный стипль-чез в Ливерпуле...

Да, всю жизнь писатель испытывал уважение и благодарность к деду и отцу, которые не просто охотничье ружье ему преподнесли, а подарили таинственный и волнующий мир природы.

В рассказе «Отцы и дети», созданном уже после трагической гибели доктора Кларенса Хемингуэя, его сын утверждал: «...нужно, чтобы кто-нибудь подарил тебе или хоть дал на время первое ружье и научил с ним обращаться, нужно жить там, где водится рыба или дичь, чтобы узнать их повадки, и теперь, в тридцать восемь лет, Ник любил охоту и рыбную ловлю не меньше, чем в тот день, когда отец впервые взял его с собой. Эта страсть никогда не теряла силы, и Ник до сих пор благодарен отцу за то, что он пробудил ее в нем».

А Ник для Хемингуэя – это он сам, его второе «я».

В 1935 году, работая над очерком «Стрельба влет», Хемингуэй снова вспоминал о том, как отец брал его с собой и учил стрелять, приобщил к охоте – этому удивительному, ни с чем не сравнимому занятию.

Грегори Хемингуэй – младший из трех сыновей писателя – свидетельствовал, что отец был особенно рад за своего наследника, когда тот поделил с кем-то из школьных товарищей первое место по стрельбе... Хемингуэй всегда считал, что мужчина должен быть на «ты» с оружием, но только со спортивным оружием.

Как-то уже пятидесятилетний Хемингуэй ехал в машине. Из придорожной канавы вылетела куропатка и оказалась прямо перед машиной. Писатель, вытянув руку, прицелился и выстрелил. Он часто так упражнялся.

– Ты попал, милый? – спросили его спутники.

Хемингуэй утвердительно кивнул и вдруг ностальгически заговорил:

– Самые лучшие уроки охоты на птиц я получил у своего отца. На всю охоту он давал мне только три пули и разрешал стрелять только в летящую птицу. У него везде были шпионы, поэтому я не мог соврать.

Вот некоторые профессора в своих ученых трудах описывают мое несчастное детство и утверждают, что оно во многом обусловило темы моих книг. Боже мой, я не помню в детстве ни одного дня, который можно было бы назвать несчастным! Да, я не был хорошим футболистом, однако разве из-за этого можно быть несчастным? Зуппке ставил меня центровым, но я никогда не понимал счет – перепрыгнул через третий класс и так никогда и не узнал ничего о числах. Я просто смотрел на лица друзей по команде и угадывал, у кого окажется мяч. Меня называли тормозом. Я хотел играть в защите, но они знали лучше, куда меня ставить. Там был один парень, который каждый день на протяжении двух лет бил меня после игры в раздевалке, но потом я вырос и, в свою очередь, врезал ему как следует, на этом история и закончилась.

В Чикаго, где можно выжить, только если у тебя крепкие кулаки, один тип вытащил перо...

Вытащил нож и порезал меня. Мы схватили его и скрутили ему руки так, что хрустнули кости.

Таков Чикаго. А затем, джентльмены, идет Канзас-Сити. В отличие от того, что пишут профессора в своих исследованиях, моим первым заданием в «Канзас стар» было найти пропавшего репортера в одном из питейных заведений, отправить его протрезветь в турецкие бани и доставить к машинистке. Так что, если профессора действительно хотят знать, чему я научился в «Стар», так вот этому – как приводить в чувство ребят, окосевших от выпивки.

Но высокоуважаемые ученые мужи не хотят принимать это во внимание. Надев свои мантии Йейля, Принстона и Нью-Йоркского университета, они загружают мои сочинения в свой «Искатель символов», представляющий собой нечто среднее между счетчиком Гейгера и китайским бильярдом. Или пускают в дело портативные индикаторы стремления к смерти, которые, помимо прочего, регистрируют комплексы разных видов, сертифицированные и нет. Потом они задают мне серьезные вопросы о символике и стремлении к смерти, а о результатах своих серьезных исследований читают лекции и делают доклады, посвященные проблемам Серьезной Литературы. Но поскольку я отвечаю им, используя бейсбольную терминологию, являющуюся гораздо более точной, чем литературная, им кажется, что я не принимаю их всерьез. Мистер Хемингуэй, прокомментируйте сублимированное стремление к смерти в романе «И восходит солнце». Ответ: Я сублимировал его точно так же, как это сделал Уитни Форд, передавая мяч Теду Уильямсу. Мистер Хемингуэй, вы согласны с теорией, утверждающей, что во всех ваших произведениях живет один и тот же герой? Ответ: А что, Йоги Берра подавал крученые подачи? Мистер Хемингуэй, какова символика покалеченной руки Гарри Моргана, покалеченной кисти полковника Кантуэлла и покалеченных гениталий Джека Барнса? Ответ: Сложите их вместе, добавьте покалеченные ноги Микки Мантля, хорошенько размешайте и, если они не наберут четырехста очков, пошлите их играть в декейтерском «Минотавре».

Вот такой монолог при воспоминании о первом ружье, подаренному ребенку дедом, и об отце, который научил обращаться с ним.

Чтобы не возвращаться больше к вопросу о непростых взаимоотношениях Эрнеста с родителями, приведем такой факт, после осмысления которого все станет на свои места. Когда сын прислал домой из Парижа свою первую долгожданную книжку рассказов, то в Оук-Парке разразился дикий скандал – правда, без непосредственного участия главного действующего лица, то есть самого Эрнеста. Его сестра Марселина вспоминала, что, ознакомившись с творчеством будущего нобелевского лауреата, родители повели себя так, как будто им в дом подбросили дохлую кошку: папа ходил угрюмый, а мама рыдала, то и дело воздевая руки к потолку и вопрошая Господа, за какие такие ее грехи сын стал столь отвратительным человеком?.. Господь, судя по всему, ясного ответа не давал. Тогда отец взял все шесть экземпляров книжки, тщательно упаковал и отправил в Париж на адрес издательства. После чего в письменном виде сообщил Эрнесту, что не желает видеть в своем доме ни подобной мерзости, ни его самого. А все дело в том, что, описывая события минувшей войны и свою первую любовь, Эрнест позволил героям разговаривать не на литературном языке, а употреблять слова и выражения, которые им казались более уместными. Особую ярость отца вызвал тот факт, что главный герой его сына оказался болен гонореей. Он так и написал Эрнесту: «Мне казалось, что всем своим воспитанием я давал тебе понять, что порядочные люди нигде не обсуждают свои венерические болезни, кроме как в кабинете врача. Видимо, я заблуждался, и заблуждался жестоко...»

Кларенс Хемингуэй любил сына, страдал от того, что в двадцатые годы он редко бывал в Америке, а жил в Европе. Отсутствие старшего сына угнетало Кларенса, которому было чуть больше пятидесяти лет, но, однако, он почему-то чувствовал себя древним стариком. Его беспокоил диабет, волновали и финансовые проблемы. Мучила мысль, что жизнь прошла, а он хотя и стал очень уважаемым в Оук-Парке врачом, но так и не узнал секретов индейской народной медицины. Жена, в которой уже невозможно было распознать несостоявшуюся

звезду сцены, вдруг начала проявлять заботу и настойчиво советовать ему наконец заняться своим здоровьем: «Милый, у тебя же грудная жаба! Милый, ты обязан лечь в постель». Он отмахивался и не говорил ей, что грудная жаба пустяки по сравнению с теми болями в ногах, которые правда испытывает в последнее время. Как врач, Кларенс не мог не знать причины этих болей: диабет давал осложнение – гангрену ступней, а гангрена неизлечима.

Родных Кларенс избавил от этих медицинских подробностей, но стал раздражительным и угрюмым. Надолго запирался у себя в кабинете и держал на замке ящики своего письменного стола. И по непонятной причине отказывался брать внуков с собой в автомобиль (они только потом поняли: дед не хотел рисковать детьми – боялся, что в какой-то момент боль станет нестерпимой и он выпустит руль). Жена обижалась, сердилась, волновалась, писала письма дочери: «Хорошо бы ты снова приехала погостить к нам и привезла с собой дорогую крошку Кэрл. Папа так любит ее. Может, увидев внучку, он приободрится...»

В один из дней – это было самое начало декабря 1928 года, но уже начинало пахнуть Рождеством, мандаринами и гусями – Кларенс Хемингуэй вернулся домой после обхода своих пациентов чуть раньше обычного и был чуть бледнее, чем всегда (впрочем, на это обратили внимание уже постфактум). Снял шляпу и пальто, поинтересовался здоровьем младшего сына Лестера, который валялся с простудой. Жена ответила, что ему уже лучше. «Хорошо, – сказал Кларенс, – тогда я прилягу до обеда».

Он поднялся в свой кабинет. Грейс обратила внимание, что он как-то особенно тяжело опирается на перила лестницы, и подумала: все-таки нужно заставить его отдохнуть... Она даже не поняла сразу, что за грохот раздался наверху, в кабинете...

О том, что отец застрелился, Эрнест узнал в поезде, когда он ехал с пятилетним сыном из Нью-Йорка в Ки-Уэст. Ему принесли телеграмму: «Папа покончил с собой. Срочно приезжай...» Он сказал сыну, что дедушка тяжело заболел, порекомендовал его темнокожему проводнику и пересел на поезд, идущий в Чикаго.

Похороны были пышными. Газета «Оук-Ливс» поместила некролог, в котором говорилось, что Кларенс Хемингуэй в течение многих лет облегчал страдания сотням людей.

А Эрнест Хемингуэй, идя за гробом и поддерживая мать, думал, что отец не смог облегчить страдания себе самому, или, точнее сказать, выбрать такую судьбу, в которой эти страдания не присутствовали бы. Он не так уж часто беседовал об этом с друзьями и никогда не говорил на эту тему с журналистами, которые брали у него интервью. И лишь однажды в кругу близких друзей Эрнест не выдержал: «Возможно, он струсил... Был болен... были долги... И в очередной раз испугался матери – этой стерве всегда надо было всеми командовать, все делать по-своему!» – и, словно спохватившись, тут же перевел разговор на другую тему. Хотя вообще о самоубийстве рассуждать он любил и, как правило, высказывался в этом смысле резко отрицательно, как будто все еще продолжал доказывать отцу его неправоту. Только 20 лет спустя, готовя к выходу очередное переиздание романа «Прощай, оружие!», Хемингуэй написал в предисловии: «Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, возможно, больше терпеть он не мог. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений».

Как-то биограф писателя А. Хотчнер просил Хемингуэя:

– Папа<sup>1</sup>, ты часто говорил о том, что, может, когда-нибудь напишешь книгу, где действие будет происходить в Америке...

– Мне всегда этого очень хотелось, но я должен был ждать, когда умрет моя мать. Понимаешь? А теперь я уже и не знаю. Мой отец умер в тысяча девятьсот двадцать восьмом году – застрелился, оставив мне пятьдесят тысяч долларов. В «По ком звенит колокол» есть один кусок...

---

<sup>1</sup> Так звали Эрнеста самые близкие друзья. (Примеч. ред.)

(На самом деле деньги эти Эрнесту оставил его дядя, но почему-то в тот вечер писателю захотелось сказать, что он получил наследство от отца, – в скобках заметил Хотчнер.)

Двадцать лет мне понадобилось, чтобы смириться со смертью отца, описать ее и пережить катарсис. Больше всего меня волнует то, что я ведь написал отцу письмо и он его получил в день того рокового выстрела, но не вскрыл конверт. Если бы он прочитал письмо, думаю, никогда бы не нажал на спуск. Когда я спросил мать о наследстве, она сказала, что уже истратила на меня все деньги. Я задал вопрос – как? На путешествия и образование, ответила она. Какое образование? Ты имеешь в виду школу в Оук-Парке? А мое единственное путешествие, заметил я, оплатила итальянская армия. Она промолчала и повела меня смотреть просторный музыкальный флигель, который пристроила к дому. Ясно, на него ушла куча денег.

А что касается музыкального салона, построенного на пятьдесят тысяч долларов, я получил небольшую компенсацию за мое наследство: повесил посреди этого роскошного помещения свою боксерскую грушу и тренировался каждый день, пока не покинул Оук-Парк. Больше я туда не возвращался. Прошло несколько лет, и однажды, в Рождество, я получаю от матери пакет. В нем – револьвер, из которого застрелился отец. В пакете также была и открытка, в которой мать писала, что, по ее мнению, мне хотелось бы иметь этот револьвер у себя. Предзнаменование или пророчество это было – не знаю».

После этих грустных пророческих строк вернемся в детство и юность писателя, туда, где все было чисто и светло. Итак, дед подарил внуку ружье. Счастье ребенка было безмерным.

В 1951 году, отвечая на письмо советского писателя Ильи Эренбурга, обратившегося к литераторам мира с призывом выступить за запрещение атомного оружия, Хемингуэй нашел афористичные слова:

«Для вашего сведения, я не только против всех видов атомного оружия, но против всех видов оружия сильнее спортивной винтовки 22 калибра и охотничьего ружья. Я также против всех армий и флотов и всех форм агрессии».

Он был лишь за спортивные ружья. Кстати, умение обращаться с оружием сослужило Эрнесту службу уже в то время, когда он учился в школе. Большое удовольствие ему доставили хлопоты по организации Охотничьего клуба для мальчиков. Этот клуб начал существовать, когда Эрнест редактировал школьную еженедельную газету «Трапедия», в которой широко освещал деятельность своего детища, писая спортивные фельетоны. Спорт он любил и понимал, потому что был неременным членом секций плавания, легкой атлетики, стрельбы и, конечно же, футбола.

«Я в школе больше всего играл в футбол, потом в баскетбол, а там начинался сезон на треке и бейсбол, и от этого я так уставал, что на занятия науками меня уже не хватало. Я больше учился потом, уже после школы», – вспоминал впоследствии Хемингуэй.

Да, как и все в его возрасте, он играл в футбол. Но любимое занятие детворы не особенно захватило его. Объяснение этому он нашел позднее сам:

«У меня не было ни честолюбия, ни шансов. В Оук-Парке, если ты мог играть в футбол, ты должен был играть».

Также не стал его страстью и бейсбол. Когда мать Эрнеста заметила, что у сына развивается близорукость, а он тем не менее упорно продолжает глотать книгу за книгой, она говорила ребенку:

– Сегодня прекрасный день. Иди на улицу и поиграй с ребятами в бейсбол. Слышишь, как они играют около школы?

– Ну, мама, я же играю, как курица, – отвечал сын и продолжал читать.

Даже в десятилетнем возрасте в обыкновенной мальчишеской игре он не желал выглядеть «курицей».

А вот за играми старших, особенно мастеров, наблюдал внимательно, запоминал мельчайшие детали поединков. Через несколько десятилетий в своем неоконченном «Африканском дневнике» он признается:

«Я помню, когда я был мальчишкой, у «Чикаго уайт соке» – был бейсболист по имени Гарри Лорд, который делал такие подачи, что начисто изматывал игрока противника до тех пор, пока не становилось темно, и игру не прекращали. В то время я был очень мал, и все казалось мне преувеличенным, но я отчетливо помню, как начинало темнеть – в то время фонарей в спортивных парках не было – и Гарри Лорд подавал свои подлые мячи, а толпа редела: «Лорд, Лорд, спаси свою душу». Здесь Хемингуэй обыгрывал фамилию бейсболиста: Лорд – по-английски «господь», отсюда игра слов «Господи, господи, спаси свою душу».

А вот самое большое спортивное увлечение Хемингуэя – бокс – вошло в его жизнь случайно.

Однажды Эрнест шел домой с охоты и нес дюжину птиц. Деревенские ребята, усомнившиеся в том, что мальчишка мог один настрелять столько птиц, избивали его. И тогда Эрнест решил выучиться драться так же хорошо, как стрелять.

В комнате, где мать заставляла его заниматься игрой на виолончели, он оборудовал подобие спортзала и стал приглашать своих одноклассников. Младшая его сестренка – Мадлен, которую он называл «своим представителем в семье», дав ей ласковое прозвище «Солнышко», производила разведку: где родители. Если их не было поблизости, то вся компания поднималась через черный ход в «музыкальную комнату». «Солнышко» тайком проносила боксерские перчатки, ведро воды и полотенце. Это было необходимо, чтобы детский бокс походил на серьезный, взрослый.

От Эрнеста и его помощницы требовалось максимум осторожности и конспирации, чтобы сохранить тайну от родителей. Отец Эрнеста ненавидел насилие, а мать не позволяла отвечать ударом на удар ни при каких обстоятельствах.

Но, как считает брат писателя Лестер Хемингуэй, родители догадались о том, что в «музыкальной комнате» происходят отнюдь не виолончельные вечера, а нечто посерьезнее, однако стараясь сберечь свой авторитет и не напороться на твердое «нет» непокорного Эрнеста, делали вид, что остаются в неведении. Боксерские поединки с ровесниками стали хорошей школой для Эрнеста. Позднее, когда он будет жить в Чикаго и увидит объявление об уроках бокса, он покажет, чему научился дома. На первом же уроке боксер Янг О Хирн повредил нос новичку; эта травма не обескуражила Эрнеста, хотя он и испытал чувство страха.

– Как только я увидел его глаза, я понял; что он мне задаст трепку, – признавался он другу.

– Тебе было страшно?

– Конечно, он мне мог здорово двинуть.

– Почему ты все же пошел на ринг?

– Я не настолько испугался, чтобы отказаться от боя!

Вот, оказывается, каким был у него характер еще в отрочестве.

Существует версия, что О Хирн специально избивал новичков, чтобы отвадить их от спорта, а деньги, внесенные авансом, не возвращал, а присваивал.

После «выволочки» от О Хирна любой другой подросток перестал бы мечтать о боксе и стал бы за три квартала обегать спортивный зал, но Эрнест уже на следующий день пришел на тренировку. Вид у него был комичный – нос перевязан бинтом, под глазами «светились синяки».

На ринг он вышел таким же целеустремленным и решительным, как накануне.

Правда, травма дала о себе знать позднее. Как-то Хемингуэй принял участие в соревновании по стендовой стрельбе и победил, попав в сорок птиц, но... Хемингуэй почувствовал что у него что-то не все в порядке с глазами:

– Во время стрельбы я мог видеть только сплошное пятно, но я знал, что глиняная мишень не может двигаться так быстро. Вот почему, как только я попал в Нью-Йорк, сразу же записался на прием к главному врачу. Тогда-то у меня и появились первые очки. Я вышел от врача, надел их и вдруг увидел все окружающее так ясно, как никогда раньше в жизни.

И все же целый год он обучался приемам бокса и заслужил право выступать в соревнованиях. К сожалению, в одном из турниров он пропустил удар в голову – и перчатка соперника попала прямо в левый глаз Эрнеста... Но даже столь суровая спортивная «учеба» не затмила для Эрнеста «мужской прелести» бокса, который до конца дней оставался для него любимым видом спорта.

Бокс в Америке очень быстро привлек внимание дельцов, мечтавших заработать деньги любой ценой. Занимаясь в Чикаго, Хемингуэй, внимательный ко всем мелочам, не мог не обратить внимания на закулисную сторону прекрасного вида спорта. Он узнал о существовании коммерческой стороны бокса – о сделках тренеров, подставках, играх на тотализаторе, где заранее обуславливался исход боя. Еще в школьном рукописном журнале «Скрижаль» Хемингуэй поместил рассказ «Все дело в цвете кожи», в котором использовал впечатления, вынесенные из-за кулис. Во время поединка двух боксеров – чернокожего и белого – специально нанятый человек должен был дубинкой нанести удар по голове негра. Но наемник почему-то сломал палку о череп белого боксера. Крупная ставка в тотализаторе пропала. А когда тренер набросился на громилу с криками: «Я же велел бить черного!», незадачливый бандюга признался: «А как я мог определить цвет кожи, если я – дальтоник».

Анекдот? Нет, сценка из жизни, зафиксированное мгновение, записанный эпизод, штрих боксерского быта.

Всю жизнь Хемингуэй любил повторять заповеди бокса, которые составил сам:

«Боксер, который только защищается, никогда не выиграет. Не лезь на рожон, если не можешь побить противника. Загони боксера в угол и выбей из него дух. Уклоняйся от свинга, блокируй хук и изо всех сил отбивай прямые... Бокс научил меня никогда не оставаться лежать, всегда быть готовым вновь атаковать... атаковать быстро и жестко, подобно быку. Кое-кто из моих критиков говорит, что у меня инстинкт убийцы. Они говорили то же самое о многих бойцах: о Джеке Демпси и Флойде Паттерсоне, об Инго Йохансене и Джо Луисе. Я в это не верю. Вы деретесь честно и без обмана, и вы деретесь, чтобы победить, а не чтобы убить».

Уже в 50-х годах писатель, ненадолго приехавший в Нью-Йорк, отказался встретиться с корреспондентами. Он говорил, что это не поза – просто ему не хватает времени. А вот на бокс он решил сходить обязательно. Затем, узнав, кто будет выступать на ринге, писатель махнул рукой:

«Лучше вовсе не ходить, чем смотреть плохой бокс. Мы все пойдем на бокс, когда вернемся из Европы, потому что необходимо хоть несколько раз в году увидеть хороший бой. А если долго не ходить на бокс, то и вовсе отвыкнешь от него, а это опасно».

Спорт, мы говорили, был составной частью жизни американской семьи. И в рассказе «Дома» писатель говорит о семье, где спорт любят, уважают, где спортом интересуются, где даже газеты начинают читать со спортивных отчетов: «Она протянула ему «Канзас-Сити Стар» и, разорвав коричневую бандероль, он отыскал страничку спорта. Развернув газету и прислонив ее к кувшину с водой, он придвинул к ней тарелку с кашей, чтобы можно было читать во время еды... Сестра, усевшись за стол, смотрела, как он читает.

– Сегодня в школе мы играем в бейсбол, – сказала она. – Я буду подавать.

– Это хорошо, – сказал Кребс. – Ну как там у вас в команде?

– Я подаю лучше многих мальчиков. Я им показала все, чему ты меня научил. Другие девочки играют неважно...

– Ты пойдешь посмотреть, как я играю?

– Может быть.

– Нет, Гарри, ты меня не любишь. Если бы ты меня любил, ты захотел бы посмотреть, как я играю...

Он пойдет на школьный двор смотреть, как Элен играет в бейсбол».

Об этом Хемингуэй напишет, уже вернувшись из Европы с мировой войны.

В 1917 году Эрнест стремился попасть в действующую армию – он пытался записаться добровольцем. Но врачи нашли, что у него плохое зрение. Возможно, он унаследовал его от матери. Но, скорее всего, плохое зрение – результат травмы глаза на тренировке, когда воспитатель пытался отвадить его от бокса. В дальнейшем травма глаза очень часто давала знать о себе. В 1950 году Хемингуэй даже временно ослеп.

А тогда – в годы первой мировой войны – он все же сумел уехать на фронт и попал в санотряд на Аппенинский полуостров. Отряд действовал в тылу. А Эрнесту не терпелось понюхать пороху на передовой. Позднее он с грустью ухмыльнется: «Я был большим дураком, когда отправлялся на ту войну. Я припоминаю, как мне представлялось, что мы спортивная команда, а австрийцы – другая команда, участвующая в состязании».

Хемингуэй получил назначение на должность водителя санитарных машин Красного Креста. Водить автомобиль приходилось по узким горным дорогам Доломитовых Альп с их бесчисленными серпантинами. Но даже такая нелегкая работа не прельщала Эрнеста – он жаждал видеть войну, ради которой приехал в Европу. И тогда Хемингуэй вызвался снабжать армейские лавки и магазины. Он умудрялся доставлять продукты прямо в окопы итальянских солдат. Добирался до передовой на велосипеде, который чудом где-то раздобыл. Эрнест быстро освоил езду по лесным дорогам, простреливаемым противником.

Во время велосипедных маршрутов, бывая на разных участках фронта, он увидел кровавый лик войны. Увидел – и поразился.

И ужаснулся. Он еще не знал, что будет писателем, но людское страдание переродило его: «Я увидел людей в моменты нечеловеческого напряжения, я увидел, как они ведут себя до этого и после». На войне он и себя увидел со стороны. «Я много узнал про самого себя», – это его признание более поздних лет.

Думается, прозрение началось после тяжелого ранения 8 июля 1918 года, о котором он сообщал родителям:

«Дорогие мои!

Наверное, у вас было много шума, когда меня подстрелили?.. От 227 ран, которые я получил при взрыве, мне тогда совсем не было больно. Только на ногах у меня как будто были надеты резиновые сапоги, полные горячей воды, и было что-то неладно с коленной чашечкой. Пулю из пулемета я почувствовал, как будто меня сильно ударили по ноге мерзлым снежком. Правда, она сшибла меня с ног. Но я снова поднялся и втащил моего раненого в окоп. Там я свалился...

Никто не мог понять, как я прошел 150 метров с таким грузом, с простреленными коленями, с пробитой в двух местах правой ступней – а всего было больше двухсот ран...

К тому времени мои раны болели, как будто 227 маленьких дьяволов забивали гвозди в живое тело... Итальянский хирург замечательно оперировал мое правое колено и ступню, наложил 28 швов и уверяет меня, что я смогу ходить так же хорошо, как и раньше...»

То, что он увидел и понял в госпитале, позднее найдет отражение в его произведениях. Бессмысленная гибель людей, молодых немудрящие парней, которые, не задумываясь, умирали на войне, как умирали бы и за любимую кинозвезду, и за спортивную честь своего штата или города. В гигантской мясорубке гибли, калечились будущие академики и музыканты, будущие Эдисоны и Моцарты, будущие олимпийские чемпионы. Война отнимала все...»

Но были и такие, кого война не убивала. Она делала другое – отнимала здоровье, цель и смысл жизни, топтала мечты. Эти люди возвращались с войны двадцатилетними по возрасту, но душою гораздо старше своих родителей. Это было знаменитое своей неприкаянностью

«потерянное поколение». О первых минутах жизни этого поколения мы читаем в рассказе «В чужой стране». Здесь ничего не происходит – обыкновенная больница, обыкновенные раненые, обыкновенные слова утешения, за которыми скрывается так много недосказанного, истинно хемингуэевского:

«– К аппарату, в котором я сидел, подошел врач и спросил:

– Чем увлекались до войны? Занимались спортом?

– Да, играл в футбол, – ответил я.

– Прекрасно, – сказал он, – вы и будете играть в футбол лучше прежнего.

Колено у меня не сгибалось, нога высохла от колена до щиколотки, и аппарат должен был согнуть колено и заставить его двигаться, как при езде на велосипеде. Но оно все еще не сгибалось, и аппарат каждый раз стопорил, когда дело доходило до сгибания. Врач сказал:

– Все это пройдет. Вам повезло, молодой человек. Скоро вы опять будете первоклассным футболистом.

В соседнем аппарате сидел майор, у которого была маленькая, как у ребенка, рука. Он подмигнул мне, когда врач стал осматривать его руку, помещенную между двумя ремнями, которые двигались вверх и вниз и ударяли по неподвижным пальцам, и спросил:

– А я тоже буду играть в футбол, доктор?

Майор был знаменитым фехтовальщиком, а до войны самым лучшим фехтовальщиком Италии».

В напряженные минуты ожидания в госпитале Хемингуэй и его товарищи вспоминают прошлое. А потому, как все они молоды, им больше всего вспоминаются их школьные годы, их спортивные увлечения. И, как в довоенное время, дома, они жадно ждут новых газет.

И читают их, начиная, разумеется, со спортивных отчетов:

«В своей комнате в госпитале я снял форму, надел пижаму и халат, спустил занавески на балконной двери и, полулежа в постели, принялся читать бостонские газеты из тех, что привозила своим мальчишкам миссис Мейерс. Команда Чикаго-Уайт-Сокс взяла приз американской лиги, а в национальной лиге впереди шла команда Нью-Йорк-Джайэнтс. Бэйб Рут играл теперь за Восток. Газеты были скучные, новости были затхлые и узко местные, известия с фронта устарелые. Из американских новостей только и говорилось, что об ученых лагерях, Я радовался, что я не в учебном лагере. Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал без малейшего интереса. Когда читаешь много газет сразу, невозможно читать с интересом. Газеты были не очень новые, но я все же их читал. Я подумал, закроются ли спортивные союзы, если Америка по-настоящему вступит в войну. Должно быть, нет. В Милане по-прежнему бывают скачки. Во Франции скачек уже не бывает».

Спорт для молодого Хемингуэя (как и для его сверстников) – дело честное. «Там, где чисто, светло» – таким он видел спорт. Воспоминания о доме, о собственной юности теснились у него в голове – и надо ли удивляться, что память, сохранив все, отбирала самые лучшие, самые светлые черты, самые неповторимые минуты. Через десять лет его герои будут мечтать в романе «Прощай, оружие!»:

«– Когда-нибудь мы с тобой походим на лыжах.

– Через два месяца начинается лыжный сезон в Мюррене, – сказала Кэтрин.

– Давай поедem туда.

– Давай, – сказала она».

Случилось так, что идилическую поездку заменило бегство, бегство от обозленных поражением итальянских солдафонов:

«Я греб в темноте, держась так, чтобы ветер все время дул мне в лицо. Дождь перестал и только изредка порывами налетал снова. Я видел Кэтрин на корме, но не видел воду, когда погружал в нее лопасти весел. Весла были длинные и не имели ремешков, удерживающих весло в уключине. Я погружая весла в воду, проводил их вперед, вынимал, заносил, снова погружал,

стараясь грести как можно легче. Я не разворачивал их плашмя при заносе, потому что ветер был попутный. Я знал, что натру себе волдыри, и хотел, чтоб это случилось как можно позднее...

В таможене очень худой и воинственный с виду лейтенант стал нас допрашивать:

– Почему вы приехали в Швейцарию так, на лодке?

– Я спортсмен, – сказал я. – Гребля – мой любимый спорт. Я гребу всегда, как только представится случай.

– Зачем вы приехали сюда?

– Заниматься зимним спортом. Мы туристы, и нас интересует зимний спорт.

– Здесь не место для зимнего спорта.

– Мы знаем. Мы хотим ехать дальше, туда, где можно заниматься зимним спортом...

Война казалась далекой, как футбольный матч в чужом колледже. Но из газет я знал, что бои в горах все еще идут, потому что до сих пор не выпал снег».

Война казалась далекой... Но вот она кончилась. И все-таки от нее нельзя было уйти. Она дала новое зрение, новые мерки жизни.

Вернувшись в Чикаго, на первых порах Хемингуэй продолжал то, что делал в школьных журналах – писал спортивные фельетоны. Здесь же, в Чикаго, он новыми глазами взглянул на мир профессиональных жульничавших боксеров и предлагающих свои услуги гангстеров. День за днем вызывали у Хемингуэя возмущение «американским образом жизни». И тогда-то им были увидены – продуманы такие рассказы, как «Пятьдесят тысяч» и «Убийцы».

В мире этом все продается и покупается – чувства, мотоциклы, купальники. Слава ветерана войны, – а Хемингуэй был первым американцем, раненным в Италии и награжденным за отвагу серебряной медалью «За доблесть» и Итальянским военным крестом, – сопровождала Хемингуэя в дороге домой. Но приносила она ему только горечь. Его приглашали в дома знаменитых людей города, чтобы украсить им обеденный стол. Затхлый мирок родного городка, все привычное и обжитое стало вдруг бесконечно неприятным и чуждым. Он пробует вылететь природой в лесах северного Мичигана. Начинает писать. Мечтает стать литератором. Но жизнь, какой он видит ее, не дает никаких надежд.

И спорт, о котором он так любил писать, открылся новой своей стороной – продажностью, подкупом. И в произведениях Хемингуэя, опубликованных через несколько лет, отражается горечь разочарования в спорте. Прочитаем несколько строк из рассказа «Трехдневная непогода». Мы видим спорт глазами двух юношей. Это самое страшное, когда о продажности спорта говорят юные, когда они разочаровываются в спорте:

«– Как дела у «Кардиналов»?

– Проиграли подряд две игры «гигантам».

– Ну, теперь им крышка.

– Нет, на этот раз просто поддались, – сказал Билл. – До тех пор, пока Мак Гроу может покупать любого хорошего бейсболиста в лиге, им бояться нечего.

– Ну, всех-то не скупить, – сказал Ник.

– Когда нужно, покупает, – сказал Билл, – или так их настраивает, что они начинают фордыбачить, и лига с радостью сплавляет их ему».

Пройдет больше 25 лет, и Эрнест Хемингуэй скажет о своей мечте: найти себе бейсбольный клуб, состоящий из молодых игроков:

«Только я не стану подавать им знаки программой, чтобы изменить ход игры, – заметит он.

А сейчас, разочаровываясь вместе со своими героями в спорте и в самых продажных его видах – боксе, футболе, бейсболе, – Хемингуэй советует и героям своим, и читателям заниматься теми видами спорта, где нельзя ничего купить и продать, где можно получить только радость.

«– Давай выпьем за рыбную ловлю, – сказал Билл.  
– Хорошо, – сказал Ник. – Джентльмены, да здравствует рыбная ловля!  
– Везде и всюду, – сказал Билл. – Где бы ни ловили.  
– Рыбная ловля, – сказал Ник. – Пьем за рыбную ловлю!  
– А она лучше, чем бейсбол, – сказал Билл.  
– Какое же может быть сравнение? – сказал Ник. – Как мы вообще могли говорить о бейсболе?»

Увидев околоспортивных дельцов, гангстеров, прилипал к спорту, аферистов, авантюристов и проходимцев, Хемингуэй ужаснулся – ему стало не по себе в Чикаго – этой безалаберной столице бандитов как спортивной арены, так и биржи, так и политики.

Мы уже знаем, как преданно писатель любил бокс. Но в его рассказах тех лет для бокса находятся только негодующие слова. В рассказе «Чемпион» он описывает бывшего кумира американских болельщиков Эда Фрэнсиса:

– Человек посмотрел на Ника и улыбнулся. На свету Ник увидел, что лицо у него обезображено. Расплющенный нос, глаза, как щелки и бесформенные губы. Ник рассмотрел все это не сразу; он увидел только, что лицо у человека было бесформенное и изуродованное. Оно походило на размалеванную маску. При свете костра оно казалось мертвым.

– Что, нравится моя сковородка? – спросил человек.

Ник смутился.

– Да, – сказал он.

– Смотри.

Человек снял кепку.

У него было только одно ухо. Оно было распухшее и плотно прилегало к голове. На месте другого уха – культяпка.

Бывшему идолу зрителей осталась одна забава – хвалиться своим пульсом. И вот он стоит перед Ником жалкий, голодный, оборванный...»

В спортивных рассказах тех лет яркой линией проходит тема чести, победы – любой или не любой ценой, тема нечистой игры и расплаты. Это неотвязная тема Хемингуэя, «сквозное действие» многих его произведений.

В рассказе «Убийцы», который сам Хемингуэй очень любил, эта тема решена художественно наиболее убедительно. Оле Андерсон в чем-то нарушил правила. Но отнюдь не честной спортивной борьбы.

Кто знает, кому из сподвижников Аль-Капоне или ему подобных не угодил долговязый швед, какой сделке он помешал. И вот теперь его преследуют люди, для которых убийство такое же профессиональное дело, как для Оле бой на ринге. Им все равно, кого убивать, лишь бы платили.

Оле уверял себя, что ему не уйти от расплаты, и он лежит на кровати в состоянии полной прострации. Он, победивший противника, оказывается» в положении загнанного зверя:

«Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Оле Андерсон, одетый, лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него...»

– В чем дело? – спросил он.

– Джордж послал меня предупредить вас.

– Все равно тут ничего не поделаешь, – сказал Оле Андерсон.

– Хотите, я вам опишу, какие они?

– Я не хочу знать, какие они, – сказал Оле Андерсон. Он смотрел на стену. – Спасибо, что пришел предупредить.

– Не стоит.

Ник все глядел на рослого человека, лежащего на постели.

– Может быть, пойти заявить в полицию?

– Нет, – сказал Оле Андерсон. – Это бесполезно...»

В рассказе «Гонка преследования» загнанный гонщик-велосипедист Вильям Кемпбелл лежит на постели, допившись до белой горячки. Кемпбелл, приняв наркотики, укрылся простыней, как саваном. В сущности – это живой труп. Он дошел до такой жизни в ожидании расплаты. Когда его хозяин грозит ему: «Ну, они тебя от этого вылечат», – он отвечает почти так же упадочнически, как герой «Убийц»:

– Ни от чего они не могут вылечить.

Кончается карьера в спорте, кончается жизнь. А ведь Оле Андерсон и Вильям Кемпбелл – это известные спортсмены. О них когда-то складывали легенды. Девушки, думая о них, видели в своих мечтах этих чемпионов, даже любили их. И настолько уверяли себя, что выдавали свои мечты за чистую монету. И очень обижались, когда им не верили. В рассказе «Свет мира» два мальчугана на захолустной станции услышали разговор мужчин и женщин сомнительного поведения:

– Что же ты не вышла за него замуж? – спросил повар.

– Я не хотела портить его карьеру, – сказала пергидрольная блондинка. – Я не хотела быть ему обузой. Ему не нужно было жениться. Ох, господи, что это был за мужчина.

– Очень благородно с твоей стороны, – сказал повар. – Но я слыхал, что Джек Джонсон нокаутировал его.

– Это было жульничество, – сказала пергидрольная. – Грязный негр обманом сбил его с ног. Ему ничего не стоило сделать нокдаун этой толстой скотине, Джеку Джонсону. Чистая случайность, что черномазый его побил...

– Стив сделал ему нокдаун, – сказала пергидрольная. – Он оглянулся, чтобы улыбнуться мне... а эта черномазая сволочь подскочила и сбила его с ног. Стиву и сотня таких была бы нипочем.

– Он был классный боксер, – сказал лесоруб.

– Что, скажешь, нет? – сказала пергидрольная. – Скажешь, теперь есть такие боксеры?»

А вот еще один спортсмен, о котором писатель поведал в рассказе «Пятьдесят тысяч»: Джек Бренан, выдающийся боксер – профессионал, который умеет многое.

«Джек Бриттон, который послужил прототипом главного героя, был боксером – и я им восхищался, – признавался Хемингуэй. – Джек Бриттон всегда был начеку. Непрерывно двигаясь по рингу, он никогда не позволит нанести себе сильный удар. Как-то я спросил Джека, обсуждая его бой с Бенни Леонардом: «Как тебе удалось так быстро расправиться с Бенни, Джек?»

– Эрни, – ответил он, – Бенни очень опытный боксер. Он не перестает думать во время боя. А пока он думал, я его бил.

Джек двигался по рингу с геометрической точностью, ни на миллиметр в сторону. Никто не мог нанести ему сильный удар. У него не было противника, которого он не мог бы ударить, когда хотел». Этот случай Хемингуэй описал в начальном варианте рассказа «Пятьдесят тысяч», но Скотт Фицджеральд уговорил его выбросить этот кусок. Эрнест послушался – дело было не только в уважении к Фицджеральду. Хемингуэй опустил то, что не имело для героя значения.

А вот главное в жизни боксера написано точно и подробно: Джек думает о спорте как об унылом и безрадостном деле, как о прибыльном бизнесе.

В последний день перед боем он говорит: «Беспокоюсь насчет своего дома в Бронксе, беспокоюсь насчет своей усадьбы во Флориде. О детях беспокоюсь и о жене. А то вспоминаю матчи. Потом у меня есть кое-какие акции – вот я о них беспокоюсь».

Джек перестал играть на скачках, потому что не хочет риска проигрыша; он выгоняет спарринг-партнера, потому что не хочет неравного напряжения; готов экономить на пустяках – хочет отложить лишний доллар. Он давно смотрит на себя как на предприятие.

Хороший куш – вот что заменило Джеку все. Он знает, только деньги, которые припас для семьи. Остальное – ерунда, разговоры. И Джек готов на самую нечестную сделку.

Рисуя без прикрас состязания и портреты спортсменов, Хемингуэй не просто обличает продажность. Он пытается искать выход, он находит у боксеров, бейсболистов светлые черты характеров, он восславляет их мужество и непреклонность. И было бы несправедливым умолчать о том обстоятельстве, что очень много деталей, черточек характеров Хемингуэй почерпнул для своих произведений именно в двадцатые годы в Чикаго. Он и сам это неоднократно признавал.

В 1961 году в Нью-Йорке вышла книга «Хемингуэй и его критики», в которой приводится признание Нобелевского лауреата: «Я учился в Чикаго писать и искал те неприметные подробности, которые, однако, производят впечатление, например, жест, каким один из игроков, не глядя, бросил перчатку через плечо, скрип брезента под плоскими подошвами боксерских башмаков, посеревшая кожа Джека Блекборна, когда он только что поднялся на ноги, и разные другие мелочи, которые я запомнил подобно тому, как художник делает наброски. Отмечаешь необычный цвет кожи Блекборна, старые порезы бритвой, удар, которым он отбрасывает противника, – еще не зная его жизни».

Еще не зная его жизни...

Конечно, в 1920 году Хемингуэй еще не знал, каким будет Роберт Кон, персонаж первого романа, который принес ему мировую славу. «Фиеста» появится только через шесть лет. Но характер Кона, боксера, которому довелось быть любовником на час Брет Эшли и который на протяжении всего повествования преследует Брет своими домогательствами, этот образ отслонился в подсознании писателя еще в Чикаго.

У Роберта Кона редкая способность вызывать неприятное чувство. Он и живет-то не как все – надумал себе жизнь, вычитал ее из книг, щеголяет умением боксировать, чтобы доказать, что он настоящий мужчина, щеголяет любовницей, стремясь этим еще что-то доказать. Он думает только о себе. Он и спортом – то начал заниматься по недоразумению:

«Роберт Кон когда-то был чемпионом Принстонского колледжа в среднем весе. Не могу сказать, что это звание сильно импонирует мне, но для Кона оно значило очень многое. Он не имел склонности к боксу, напротив – бокс претил ему, но он усердно и, не щадя себя, учился боксировать, чтобы избавиться от робости и чувства собственной неполноценности, которое он испытывал в Принстоне, где к нему... относились свысока. Он чувствовал себя увереннее, зная, что может сбить с ног каждого, кто оскорбит его, но нрава он был тихого и кроткого и никогда не дрался, кроме как в спортивном зале. Он был лучшим учеником Спайдера Келли. Спайдер Келли обучал всех своих учеников приемам боксеров веса пера, независимо от того, весили ли они сто пять или двести пять фунтов. Но для Кона, по-видимому, это оказалось то, что нужно. Он и в самом деле был очень ловок. Он так хорошо боксировал, что удостоился встречи со Спайдером, во время которой тот нокаутировал его и раз навсегда сплющил ему нос. Это усугубило нелюбовь Кона к боксу, но все же дало ему какое-то странное удовлетворение я несомненно, улучшило форму его носа».

Для Роберта Кона Хемингуэй не жалеет красок своей богатой сатирической палитры. Он не прощает боксеру ничего – ни зазнайства, ни эгоизма, ни отсутствия элементарной тактичности, ни его миловидности, ни позы мученика. Чемпион Принстона в среднем весе Кон без труда избивает до бессознательного состояния щуплого матадора Ромеро, в которого влюбилась Брет. Но даже избитый маленький Ромеро все равно не сдастся и вынуждает победителя Кона с позором бежать от свидетелей этой расправы.

...Итак, подводя итог чикагскому периоду жизни начинающего писателя, можно сказать: он начинал как спортивный беллетрист, он пытался точно фиксировать на бумаге все то, что видел и слышал, что чувствовал и понимал на матчах, в тренировочных залах. Природная наблюдательность вырчала его. Шел яростный набор впечатлений и образов. Этот период

можно сравнить со спортивным состязанием, именуемым прыжками в длину. Атлет-писатель Хемингуэй вышел на дорожку для разбега. Рассчитал свои силы, дождался момента, когда перестал дуть встречный ветер, и побежал. Он уже попал на доску для толчка. Оттолкнулся! За какой отметкой приземлится он? Рассказы, о которых мы говорили, были созданы позже, в парижский период его жизни, в те замечательные года, которые он назвал «праздником». Праздником, который всегда оставался с ним!

Во Францию Эрнест плыл на пароходе «Леопольдина» со своей очаровательной женой Хэдли, которая с первого взгляда «сражала» всей своей непринужденностью, легкостью, спортивнойностью. Эрнест с восхищением рассказывал своей сестре Марсе лине о первом впечатлении от Хэдли. Они договорились пойти смотреть футбольный матч на стадионе Чикагского университета. Но накануне игры Хэдли подвернула ногу. Не желая портить настроение любимому, Хэдли, преодолевая боль, поднялась с постели, надела на больную ногу красный матерчатый тапочек и, опираясь на руку Эрнеста, пошла на стадион. Готовый ко всяким неожиданностям, Хемингуэй растерялся от такой выходки: «Любая другая смушалась бы, – говорил он восхищенно Марселине, – а Хэдли не обращала никакого внимания на свою туфлю. Она шла так, как будто все в порядке. Это по-настоящему спортивная девушка».

В те годы характеристика «по-настоящему спортивная» была высшей оценкой для журналиста и спортсмена Хемингуэя.

Сегодня мы можем высказать предположение, что рядом с Хемингуэем нельзя было находиться людям пассивным, безвольным, отдавшимся воле течения. Он любил тех, кто жил широко и открыто, пользуясь преимуществом молодости, которая дается человеку на очень короткое время, кто дышал полной грудью. Хемингуэй и сам излучал радость и удовольствие от жизни, гипнотически завораживая окружающих, невольно заставляя их идти за ним. Знавшие молодого Эрнеста так описывали его в те дни: «Сто килограммов веса были сосредоточены главным образом в верхней части тела: он был массивен, квадратен в плечах, но сухощав в бедрах. От него исходило какое-то совершенно особенное ощущение: упругости, заряженности электричеством и в то же время строгого контроля над каждым своим движением».

Когда Эрнест плыл с Хэдли через штормовой декабрьский Атлантический океан, он нашел для себя великолепное занятие, которое, к слову говоря, скрасило нелегкое путешествие для сотен пассажиров «Леопольдины»: Хемингуэй устроил на пароходе матчи по боксу с чемпионом из американского города Солт-Лейк-Сити Генри Кадди, который стремился в Европу для участия в крупнейших турнирах. Хемингуэй уступал в мастерстве профессионалу. Всего один матч смог выиграть Эрнест у сильного противника, но и этого было достаточно, чтобы стать счастливым: ведь он победил подлинного мастера ринга, Кадди, на которого, к слову говоря, произвели большее впечатление техника, напористость и сила Эрнеста. Кадди даже предложил своему противнику заняться боксом в Париже, гарантируя успех. Польщенный Эрнест поблагодарил за искреннюю похвалу, но признался, что у него другие планы, связанные с пребыванием в Париже.

Забегим несколько вперед, пока «Леопольдина» еще качается на волнах Атлантики, и прочитаем характеристику американского писателя Линкольна Стеффенса, данную своему другу Хемингуэю, сумевшему за один год «завоевать» Париж: «Хемингуэй был тогда самым многообещающим американцем в Европе».

Сказано щедро. Но посмотрим: так ли это было на самом деле. Молодой человек, которому не исполнилось еще и двадцати пяти лет; и вдруг – «самый многообещающий». Кем он был в свои неполные четверть века, этот писатель, с первых же рассказов, заставивший говорить о себе, любимец литературного Парижа, жизнерадостный, сильный, даже удрученный и сконфуженный своей силой атлет, превосходный рыболов и охотник, классный теннисист, азартный велосипедист, непобедимый боксер, неутомимый горнолыжник, бесстрашный матадор-любитель, ветеран войны, отмеченный боевыми наградами?

Его друг – поэт и редактор Эрнест Уолш написал стихи о нем:

Папаша солдат, боксер и тореро,  
Писатель гурман, храбрец и эстет.  
Он здоровенный парнище из-под Чикаго,  
Где обувь шьют на номер больше,  
И хорошо, что у него не ноги француза.  
Они с Наполеоном не ужились бы,  
Он расквасил бы нос Бонапарту.

Тот же Эрнест Уолш, прочитав в рукописи рассказы Хемингуэя «На Биг-Ривер» и «Непобежденный», напечатал их в своем журнале, провозгласив: «Хемингуэй завоевал своего читателя. Он заслужит больших наград, но, слава Богу, никогда не будет удовлетворен тем, что делает. Он – среди избранных. Он принадлежит людям. Потребуется годы, прежде чем истощают его силы. Но он до этого не доживет».

«Они с Наполеоном не ужились бы» – а ведь очень точное утверждение! Чуть ли не любимым словом Хемингуэя тогда было: «Поспорим!»

И плохо было тому, кто спорил с ним: если писатель что-то хотел доказать – он доказывал. У него хватало на это и мужества, и силы воли.

А спортом писатель увлекался еще и потому, что знал: «Спорт – это здоровье. Спорт – это хорошее настроение. Спорт – это долголетие». Человек должен жить долго. Цепь людских привязанностей рождается медленно. Через десять лет Хемингуэй признавал в «Зеленых холмах Африки»:

«От писателя требуется ум и бескорыстие и самое главное-долголетие. Попробуйте соединить все это в одном лице и заставьте это лицо преодолеть все те влияния, которые тяготеют над писателем».

В потоке сознания писателя Гарри – героя рассказа «В снегах Килиманджаро», умирающего в охотничьем лагере, появляется картина Парижа двадцатых годов, Парижа, в котором Эрнест «был очень беден и очень счастлив». Хемингуэй подарил своему герою часть личной биографии:

«Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажером. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей... Не было для него Парижа милее этого... Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен».

В этой гостинице у Хемингуэя был номер, в который вело шесть или восемь (писатель даже не мог вспомнить) лестничных маршей и где было холодно, даже если ты истопишь вязанку хвороста...

И в этой дешевой гостинице он жил и работал, переполненный счастьем, от которого кружилась голова. Он был счастлив, потому что любил прекрасную женщину и был любим ею. Счастлив оттого, что, еще не создав своей «большой» книги, уже был уверен: он ее обязательно напишет и издаст. Уверенность эта сидела в нем твердо, потому что он смог сформулировать для себя главный закон писательства:

«Для серьезного автора единственными соперниками являются те писатели прошлого, которых он признает. Все равно, как бегун, который пытается подбить собственный рекорд, а не просто соревнуется со всеми соперниками в данном забеге. Иначе никогда не узнаешь, на что ты в самом деле способен».

Через десяток с небольшим лет в «Зеленых холмах Африки», размышляя о нелегком литературном пути, Хемингуэй объясняет, почему буржуазное общество губит тех писателей, которые хоть и талантливы, но не стойки духом, не тверды в своих убеждениях:

«Мы губим их (писателей. – *Ред.*) всеми способами. Во-первых, губим экономически. Они начинают сколачивать деньги... Разбогатеv, наши писатели начинают жить на широкую ногу, и тут-то они попадаютсв. Теперь уж им приходится писать, чтобы поддерживать свой образ жизни, содержать своих жен, и прочая, прочая, – а в результате получается макулатура... Раз изменив себе, они стараются оправдать эту измену, и мы получаем очередную порцию макулатуры».

Сам Хемингуэй, несмотря на нужду, работал честно, ни на йоту не отступая от своих принципов: «Будь я проклят, если напишу роман только рада того, чтобы обедать каждый день! Я начну его, когда не смогу заниматься ничем другим и иного выбора у меня не будет».

Хемингуэй нельзя было приманить ничем. Он отверг, к примеру, предложение издательского объединения Херста, которое сулило ему солидное обеспечение на долгие годы. А отверг, потому что знал: трудясь на Херста, он вынужден будет отказываться от многих своих убеждений и подделываться под идеологию, проповедуемую этим гангстером в журналистике и литературе. Он предпочитал покупать обед за какие-то пять су на улице у торговцев жареным картофелем.

Это трудное и счастливое время он помнил всегда и признавался друзьям: «Обожаю Люксембургский сад, он спасал нас от голода. В дни, когда в доме было шаром покати и все кастрюли пусты, я брал годовалого Бамби, сажал его в коляску и мы ехали с ним в Люксембургский сад. Там всегда дежурил один жандарм, следил за порядком, но я знал, что около четырех часов он обязательно идет опрокинуть стаканчик в ближайшем баре. Тут и появлялся я с Бамби и с пакетом кукурузы. С видом эдакого обожателя голубей я усаживался на скамейку. Надо сказать, Люксембургский сад славился своими голубями. Я выбирал подходящего голубка, а уже остальное было делом техники – сначала привлечь внимание намеченной жертвы кукурузой, а когда птица приблизится, схватить ее, свернуть ей шею и спрятать под одеялом в коляске Бамби. Признаться, в ту зиму голуби нам слегка поднадоели, но благодаря им мы выжили».

Писал он много. Работал, как каторжник. Но ненапечатанные литературные труды дохода не приносили. В книге «Праздник, который всегда с тобой» он не пишет, как ему и Хэдди не хватало денег, как бы «забывает» о том, что приходилось подрабатывать, становясь шофером такси, а в гимнастическом зале на улице Понтуаз выступать спарринг-партнером боксеров-тяжеловесов, получая по десять франков за раунд, а позднее и обучать горнолыжному спорту богатых туристов в Швейцарии, Италии и Австрии... Но, даже будучи не всегда сытым, он всегда, повторим это, был счастлив. Хемингуэй работал тяжело и трудно, он ведь только приобретал школу письма. Его натура требовала: в любом деле быть первым. Таким он хотел стать и в литературе, в той литературе, которая являлась для него смыслом и целью жизни. Он писал трудно и был очень рад этому, потому что знал: если пишется легко, значит плохо читается... Через четверть века он посоветует своему младшему сыну Грегори, который хотел стать литератором: «Писать – дело трудное. Если можешь – не ввязывайся...» Но сам-то он ввязался в это дело, он жизнь свою положил на алтарь литературы, считая ее самым священным занятием из всех существующих в мире. И ради нее, литературы, он терпел все неудобства жизни, добывая деньги на пропитание организацией спортивных поединков, естественно, без вмешательства маклеров и коммерсантов, тотализатора и предварительных сделок. Он предпочитал голодать, чем жертвовать самым главным для писателя – творчеством, словом. Он не умел и не хотел учиться подделываться под вкусы издателей, продавая свой талант. Он работал, писал с натугой, чтобы затем все это легче читалось.

Но после литературной работы он умел давать себе необходимый отдых. Он спешил на стадион, в гимнастический зал или на ринг. Эрнест весело шагал по улицам ничему не изум-

ляющегося Парижа и весело боксировал с воображаемым противником, он как бы предвкушал радость от предстоящего поединка. А противники у него были неслабые. Советский литературовед Иван Кашкин рассказывает о случае, который произошел с Эрнестом на Зимнем велодроме:

«Здесь, вопреки всем правилам, устроена была встреча чемпиона среднего веса с легковесом Траве. На десятом раунде разозленный упорной обороной, чемпион обрушил на Траве превосходство своего веса, и дело, вероятно, кончилось бы убийством, но тут присутствовавший при этом Хемингуэй скинул пиджак, прыгнул на ринг и пустил в ход против чемпиона свой собственный тяжелый вес и увесистые кулаки. Изувеченный Траве был спасен от смерти.

Одни искренне восхищались этим атлетом, который и за себя постоит и другого в беде выручит, а были люди, в основном потерпевшие, которые честили его забиякой, имея в виду его не литературный, а спортивный вес».

В те же годы Хемингуэй дал шуточное, откровенно-озорное интервью Сильвии Бич, которое было принято за чистую монету. Писатель говорил, что он вынужден был «по семейным обстоятельствам» стать боксером-профессионалом, что первыми его заработками были призы за выигранные бои на ринге, и что ему стоило больших трудов бросить профессию боксера.

В Париже Хемингуэй продолжал ходить в зал бокса для поддержания спортивной формы. Как он сам признается в «Прощай, оружие!»:

«Я ходил в гимнастический зал боксировать для моциона. Обычно я ходил туда утром... Очень приятно было после бокса и душа пройти по улице, вдыхая весенний воздух, зайти в кафе посидеть и посмотреть на людей и прочесть газету... Преподаватель бокса в гимнастическом зале носил усы, у него были очень точные и короткие движения, и он страшно пугался, когда станешь нападать на него. Но в гимнастическом зале это было очень приятно. Там было много воздуха и света, и я трудился на совесть: прыгая через веревку и тренировался в различных приемах бокса, и делал упражнения для мышц живота, лежа на полу в полосе солнечного света, падавшей из раскрытого окна, и порой пугал преподавателя, боксируя с ним. Сначала я не мог тренироваться перед длинным узким зеркалом, потому что так странно было видеть боксера с бородой. Но под конец меня это просто смешило. Я хотел сбрить бороду, как только начал заниматься боксом»...

В двадцатые годы снова вспыхнула в писателе любовь к велосипедным гонкам. Он и раньше хорошо управлялся с двухколесной машиной, участвовал в различных соревнованиях, но велосипед в Америке не пользовался большой популярностью. И потому велосипедное увлечение Эрнеста оставалось тайным для многих. Попав же в Европу, Хемингуэй увидел настоящие гонки и подлинных асов «трасс ада». И в Италии во время войны, и в послевоенной Франции он значительную часть своего времени посвящает велосипеду.

В архиве писателя сохранилась фотография, сделанная в роды войны – рядовой Эрнест Хемингуэй стоит с велосипедом возле развороченного здания в местечке Фассальта. К раме велосипеда приторочен карабин.

Во Франции же писателя привлекали не столько сами занятия велосипедом, сколько неповторимые захватывающие поединки на шоссе и треке. Позднее он с теплотой будет вспоминать:

«Велосипед сразу захватил меня: было в нем что-то новое и неизведанное... Велогонки были прекрасной новинкой, почти мне не известной. Но мы увлеклись ими сразу... Я начинал много рассказов о велогонках, но так и не написал ни одного, который мог бы сравниться с самими гонками на закрытых и открытых треках или на шоссе. Но я все-таки покажу Зимний велодром в дымке уходящего дня, и крутой деревянный трек, и особое шуршание шин по дереву, и напряжение гонщиков, и их приемы, когда они взлетают вверх и устремляются вниз, слившись со своими машинами; покажу все волшебство *dami-fond*: ревущие мотоциклы с роликами позади и *entraîneurs* на них в тяжелых защитных шлемах и внушительных кожаных

куртках, сидящих, расправив плечи, чтобы загородить от встречного потока воздуха гонщиков в шлемах полегче, пригнувшихся к рулю и бешено крутящих огромные зубчатые передачи, чтобы маленькое переднее колесо не отставало от роликов позади мотоцикла, рассекающего для них воздух, и треск моторов, и захватывающие дух поединки между гонщиками, летящими локоть к локтю, колесо к колесу, вверх-вниз и все время вперед на смертоносных скоростях до тех пор, пока кто-нибудь один, потеряв темп, не отстанет от лидера и не ударится о жесткую стену воздуха, от которого он до сих пор был огражден».

Разновидностей велогонок было очень много. Обычный спринт с отдельным стартом или матчевые гонки, когда два гонщика долгие секунды балансируют на своих машинах, чтобы заставить соперника вести, потом несколько медленных кругов и наконец резкий бросок в захватывающую чистоту скорости. Кроме того, дневные двухчасовые командные гонки с несколькими спринтерскими заездами для заполнения времени; одиночные состязания на абсолютную скорость, когда гонщик в течение часа соревнуется со стрелкой секундомера; очень опасные, но очень красивые гонки на сто километров по крутому деревянному треку пятисотметровой чаши «Буффало» – открытого стадиона в Монруже, где гонщики шли за тяжелыми мотоциклами; Линар, знаменитый бельгийский чемпион... к концу, увеличивая и без того страшную скорость, пригнул голову и сосал коньяк из резиновой трубки, соединенной с грелкой у него под майкой, и чемпионаты Франции по гонкам за лидером на бетонном треке в шестьсот шестьдесят метров длиной в парке Принца возле Отейли – самом коварном треке, где на наших глазах разбился великий Ганэ и мы слышали хруст черепа под его защитным шлемом, точно во время пикника кто-то разбил о камень крутое яйцо. Я должен описать необыкновенный мир шестидневных велогонок и удивительные шоссейные гонки в горах. Один лишь французский язык способен выразить все это, потому что термины все французские. Вот почему так трудно об этом писать».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.